

НИКОЛАЙ НАСЕДКИН

ТРИ РОМАНА ДОСТОЕВСКОГО

Сразу надо уточнить, что речь пойдёт не о “Преступлении и наказании” или, допустим, “Братьях Карамазовых”, речь о реальных, земных романах писателя, которые он в муках и радостях пережил в своей судьбе и которые, конечно же, отразились в его творчестве, помогли достоверно отобразить полные страстей отношения героев “Униженных и оскорблённых”, “Игрока” и других произведений.

Мария

Первая любовь пришла к Достоевскому поздно, в 33 года, но накал её, может быть, от этого был ещё более ярк. До каторги автору “Бедных людей” довелось лишь испытать безответное увлечение Авдотьей Яковлевной Панаевой, которое он легко пережил. Теперь же не то! В Семипалатинске, где писатель-петрашевец отбывал солдатчину после каторги, он встретил Марию Дмитриевну Исаеву, жену местного чиновника. К тому времени муж Марии Дмитриевны совершенно спился, семья жила в нищете, все мечты романтической 30-летней женщины терпели крах. Достоевский не мог не привлечь её внимание, а она – его: уж больно заметно оба они отличались от семипалатинского общества. По свидетельству А. Е. Врангеля, близкого друга писателя той поры, Исаева была “довольно красивая блондинка среднего роста, очень худощавая, натура страстная и экзальтированная. Уже тогда зловещий румянец играл на её бледном лице, и несколько лет спустя чахотка унесла её в могилу. Она была начитанна, довольно образованна, любознательна, добра и необыкновенно жива и впечатлительна. . .” Эта женщина поразила Достоевского и внешнею, и интеллектом и, думается, не в последнюю очередь вот этим самым чахоточным романтическим румянцем. Он стал буквально пропадать в доме Исаевых по целым дням. Муж Марии Дмитриевны, человек тихий, смиренный, тоже чахоточный и крепко пьющий, никак не мог служить помехою в развитии их романа.

Врангель уверяет, что-де любви со стороны Исаевой никакой не было – она всего лишь “пожалела несчастного, забитого судьбою человека”. И далее мемуарист даже с какой-то горечью констатирует: Фёдор Михайлович жалость принял за любовь и сам влюбился без памяти. Врангель писал свои воспоминания спустя четверть века после смерти Достоевского, уже зная всё его творчество. Неужели ж он забыл, как умели любить и как воспринимали любовь герой-рассказчик “Белых ночей”, Иван Петрович в “Униженных и оскорблённых”, Разумихин в “Преступлении и наказании”, князь Мышкин в “Идиоте”, Шатов в “Бесах”, Дмитрий Карамазов, наконец? Для этих героев, как и для их

создателя, главным было — любить самому, жить этим всепоглощающим чувством и отдаваться ему целиком со всем пылом сердца и души без остатка, вплоть до гибели. И если предмет любви хотя бы не отвергает их чувства, не отталкивает, а, наоборот, отвечает хоть в какой-то мере взаимностью — пусть это называется состраданием, жалостью, уважением, — это уже верх блаженства и счастья.

Конечно, Достоевский знал-видел, не мог не знать (да Мария Дмитриевна и говорила об этом прямо), что возлюбленная его головы не теряет: от нищего мужа-пропойцы (а он в то время ещё и лишился работы) она никак не могла уйти к тоже нищему, бесправному, больному и совершенно, как тогда казалось, бесперспективному литератору. Однако ж на первых порах романа уже одно общение, каждодневные встречи, близость с этой необыкновенной по семипалатинским меркам женщиной превратило для Достоевского солдатчину в райскую жизнь.

Но вскоре, в конце мая 1855-го, через несколько месяцев после начала их отношений, муж Исаевой получает место службы в городе Кузнецке, за пятьсот вёрст от Семипалатинска. Врангель свидетельствует: “Отчаяние Достоевского было беспредельно; он ходил, как помешанный, при мысли о разлуке с Марией Дмитриевной; ему казалось, что всё для него в жизни пропало. <...> Сцену разлуки я никогда не забуду. Достоевский рыдал навзрыд, как ребёнок...”

Добрый друг Александр Егорович накачал Исаева шампанским, дабы “голубки” могли без помех проститься. После проводов отъезжающих далеко за город вернулись домой на рассвете. “Достоевский не прилёг — всё шагал и шагал по комнате и что-то говорил сам с собою <...> лежал весь день, не ел, не пил и только нервно курил одну трубку за другой...”

Какая невероятная жалость, что из всей интенсивно-лихорадочной переписки Фёдора Михайловича с Марией Дмитриевной периода вынужденной разлуки (а писал бедный тоскующий солдат в Кузнецк чуть ли не каждый день!) сохранилось лишь одно-единственное письмо Достоевского — от 4 июня 1855 года. Но и по нему можно вполне составить представление о накале его страсти: “...Только об Вас и думаю. К тому же, Вы знаете, я мнителен; можете судить об моём беспокойстве. <...> Если б Вы знали, до какой степени осиротел я здесь один! Право, это время похоже на то, как меня первый раз арестовали в сорок девятом году и схоронили в тюрьме, оторвав от всего родного и милого. Я так к Вам привык. На наше знакомство я никогда не смотрел, как на обыкновенное, а теперь, лишившись Вас, о многом догадался по опыту. <...> Вы были мне моя родная сестра. Одно то, что женщина протянула мне руку, уже было целой эпохой в моей жизни. <...> Сердце моё всегда было такого свойства, что прирастает к тому, что мило, так что надо потом отрывать и кровенить его. Живу я теперь совсем один, деваться мне совершенно некуда; мне здесь всё надоело. Такая пустота! <...> Когда-то дождусь Вашего письма! Я так беспокоюсь! <...> Прощайте, незабвенная Марья Дмитриевна! Прощайте! ведь увидимся, не правда ли? <...> Прощайте, прощайте! Неужели не увидимся? Ваш Достоевский”.

Надо учесть, что это письмо написано ещё к чужой жене, да ещё и с вероятностью прочтения её мужем — отсюда и “сестра”, и строки о “дорогом друге” и “добрейшей души человеке” Александре Ивановиче Исаеве (которые для экономии места пришлось сократить), и изо всех сил сдерживаемые выписки чувств. Можно только представить, какие страсти бурлили в более поздних письмах-посланиях Фёдора Михайловича к Марии Дмитриевне — уже вдове, потом любовнице молодого кузнецкого учителя Вергунова и, наконец, своей невесте. В какой-то мере об этом мы можем судить по письмам Достоевского к Врангелю, который в конце 1855 года совершает длительные служебные поездки в Бийск и Барнаул (он занимал в Семипалатинске должность стряпчего по уголовным и гражданским делам, по-нынешнему — прокурора), а в самом начале 1856 года уезжает из Сибири в Петербург и, к нашему счастью, бережно сохранит все послания друга-писателя из семипалатинской ссылки.

Ещё в Бийск Фёдор Михайлович сообщает Александру Егоровичу горестную, но для него подспудно — чего уж там кривить душой! — и сулящую радужные матримониальные перспективы весть о смерти в Кузнецке А. И. Исаева. Кончина горемыки последовала 4 августа 1855 года, ровно — день

в день — через два месяца после написания уже цитированного письма Достоевского в Кузнецк, в котором он жмёт крепко руку Александру Ивановичу, целует его, называет братом и желает-советует тому на новом месте быть разборчивее в людях, не водить дружбы с грязными собутыльниками и выражает надежду, что “брат” на пожелания эти не рассердится... Исаев толком воспользоваться не успел дружеско-братскими советами своего соперника. А у Достоевского вскоре, как уже упоминалось, появится новый соперник и опять же “брат” — Н. Б. Вергунов.

Если бы сам писатель не рассказал впоследствии в художественной форме и очень убедительно о подобных взаимоотношениях между соперниками в романе “Униженные и оскорблённые”, в это просто невозможно было бы поверить. Любовный треугольник в книге (Иван Петрович—Наташа Ихменева—Алёша Валковский) в точности повторяет жизненный любовный треугольник (Достоевский—Исаева—Вергунов). Многомудрый не по возрасту Н. А. Добролюбов, разбирая-рецензируя роман “Униженные и оскорблённые”, желчно обронит по поводу странностей любви Ивана Петровича: “Что за курицы чувства!..” Многоопытный 25-летний критик “Современника” сомневался, что подобные чувства мог испытывать реальный человек в действительной жизни. Он не хотел верить, что автор “Униженных и оскорблённых” — не романтик, не сентименталист, а реалист чистой воды, и не знал, что Иван Петрович во многом является автопортретным и автобиографическим героем.

Вспомним, что ещё в “Белых ночах” сделан как бы эскиз подобного сюжетного хода: герой-рассказчик добровольно становится посредником между любимой девушкой и своим более счастливым соперником. Тогда, в 1848-м, это действительно была фантазия молодого Достоевского на тему *странностей любви*. И вот судьба, словно подыгрывая писателю, подбросила ему похожую жизненную ситуацию, дабы в “Униженных и оскорблённых”, а позже и в “Идиоте” он мог воссоздать болезненные взаимоотношения героев, руководствуясь личным мучительным опытом.

Итак, до Семипалатинска допорхнули тревожные вести о предполагаемом новом замужестве вдовы Исаевой. Достоевский пишет в это время (23 марта 1856 г.) Врангелю пространное письмо (более десяти страниц убогистого текста), переполненное жалобами, страхами, отчаянием и бессильными проклятиями на горькую судьбину. Причём, надо подчеркнуть, речь ещё идёт не о реальном сопернике Вергунове, который объявится-появится позже, а только о намёках самой Марии Дмитриевны и слухах-сплетнях из Кузнецка. Вот лишь несколько фрагментов из этого письма-гимна несчастной ускользающей любви:

“Уведомляю Вас, что дела мои в положении чрезвычайном. La dame (la mienne) моя дама (фр.) грустит, отчаивается, больна поминутно, теряет веру в надежды мои, в устройство судьбы нашей и, что всего хуже, окружена в своём городишке (она ещё не переехала в Барнаул) людьми, которые смастерят что-нибудь очень недоброе: там есть женихи. Услужливые кумушки разрываются на части, чтобы склонить её выйти замуж, дать слово кому-то, имени которого ещё я не знаю. <...> Я предугадывал, что она что-то скрывает от меня. <...> И что ж? Вдруг слышу здесь, что она дала слово другому, в Кузнецке, выйти замуж. Я был поражён как громом. В отчаянии я не знал, что делать, начал писать к ней, но в воскресенье получил и от неё письмо, письмо приветливое, милое, как всегда, но скрытное ещё более, чем всегда. Меньше прежнего задушевных слов, как будто остерегаются их писать. Нет и помину о будущих надеждах наших, как будто мысль об этом уж совершенно отлагается в сторону. Какое-то полное неверие в возможность перемены в судьбе моей в скором времени и наконец громовое известие: она решила прервать скрытность и робко спрашивает меня: “Что, если б нашёлся человек, пожилой, с добрыми качествами, служащий, обеспеченный, и если б этот человек делал ей предложение — что ей ответить?” Она спрашивает моего совета. <...> Просит обсудить дело хладнокровно, как следует другу, и ответить немедленно <...> прибавляет, что она любит меня, что это одно ещё предположение и расчёт. Я был поражён как громом, я зашатался, упал в обморок и проплакал всю ночь. Теперь я лежу у себя <...>. Неподвижная идея в моей голове! Едва понимаю, как живу и что мне говорят. О, не дай Господи никому этого страшного, грозного чувства. Велика радость любви, но страдания так ужасны, что лучше бы никогда не любить. Клянусь Вам, что я пришёл в отчаяние. <...> Я написал ей письмо в тот же вечер, ужасное, отчаянное.

Беденькая! ангел мой! Она и так больна, а я растерзал её! Я, может быть, убил её этим письмом. Я сказал, что я умру, если лишусь её. Тут были и угрызения, и ласки, и униженные просьбы, не знаю что. <...> Но рассудите: что же делать было ей, бедной, заброшенной, болезненно мнительной и, наконец, потерявшей всю веру в устройство судьбы моей! Ведь не за солдата же выйти ей...”

Здесь возникает резонный вопрос: это кому же Фёдор Михайлович объясняет-оправдывает поведение Марии Дмитриевны – Врангелю или себе? Далее он начинает упорно твердить, опять же пытаясь, скорее всего, уверить самого себя, что она только его одного и любит, что решение её о замужестве в Кузнецке находится ещё только в проекте и что всё ещё, вероятно, можно переменить... Но успокоить себя никак не получается, и Достоевский вновь выплещивает на бумагу всё своё запредельное отчаяние:

“<...> Теперь что мне делать! Никогда в жизни я не выносил такого отчаяния... Сердце сосёт тоска смертельная, ночью сны, вскрикивания, горловые спазмы душат меня, слёзы то запрутся упорно, то хлынут ручьём. Посудите же и моё положение. Я человек честный. Я знаю, что она меня любит. Но что, если я противлюсь её счастью? <...> Отказаться мне от неё невозможно никак, ни в каком случае. Любовь в мои лета не блажь, она продолжается два года, слышите, два года, в 10 месяцев разлуки она не только не ослабела, но дошла до нелепости. Я погибну, если потеряю своего ангела: или с ума сойду, или в Иртыш! <...> я готов жизнь мою за неё отдать и отказался бы от всех надежд моих в её пользу. <...> Поймите же, что это для неё смерть и гибель выйти там замуж! <...> Она в положении моей героини в “Бедных людях”, которая выходит за Быкова (напророчил же я себе!)...”

Между жалобами и стенаниями письмо заполнено проектами страдающего влюблённого солдата о кардинальном переустройстве своего статус-кво: как вырваться с помощью петербургских влиятельных знакомых из солдатчины, как начать печататься хотя бы инкогнито (а ни одного законченного произведения, за исключением “Детской сказки”, ещё и в помине нет!), как раздобыть денег, дабы “откупить” бедствующую Марию Дмитриевну от вынужденного брака...

А между тем социальный статус бывшего петрашевца начинает повышаться. И это внушает ему уже конкретные надежды на возможность повести Марию Дмитриевну под венец. Он уже унтер-офицер, в кругах высшего военного начальства рассматривается – и вполне благожелательно – вопрос о производстве его в прапорщики, а это, в свою очередь, подарит возможность опальному писателю, во-первых, вновь свободно печататься и, во-вторых, уже реально хлопотать о выходе в *статскую жизнь*. Казалось бы, надо только ждать и радоваться...

Но вот в это-то время и обрушивается на Достоевского со стороны его возлюбленной жестокий удар. В начале июня 1856 года он нелегально вырывается в Кузнецк, встречается с Исаевой, и она признаётся ему в своём “увлечении” учителем Вергуновым. И опять же мы все эти сцены разыгравшейся реальной любовной драмы, все переживаемые Достоевским чувства можем легко представить, вчитываясь в соответствующие страницы “Униженных и оскорблённых”. Вот, к примеру:

“– Как! Сам же и сказал тебе, что может другую любить, а от тебя потребовал теперь такой жертвы?”

– <...> Что ж? Лучше, что ль, если б он лгал? А что он увлётся, так ведь стоит только мне неделю с ним не видаться, он и забудет меня, и полюбит другую, а потом как увидит меня, то и опять у ног моих будет. Нет! Это ещё и хорошо, что я знаю, что не скрыто от меня это; а то бы я умерла от подозрений. Да, Ваня! Я уж решилась: *если я не буду при нём всегда, постоянно, каждое мгновение, он разлюбит меня, забудет и бросит*. Уж он такой; его всякая другая за собой увлечь может. А что же я тогда буду делать? Я тогда умру... да что умереть! Я бы и рада теперь умереть! А вот каково жить-то мне без него? Вот что хуже самой смерти, хуже всех мук!...”

Можно подумать, что здесь с примером что-то напутано, но это не так. Да, “повествователю” Ивану Петровичу автор, само собой, подарил и черты автобиографичности, и свой литературный талант, и своё поведение периода первой влюблённости... Но самый интерес как раз в том и состоит, что свои личные мысли-чувства-переживания без памяти любящего, но сомневающегося

во взаимности человека, готового безропотно добиваться благосклонности предмета любви вновь и вновь, Фёдор Михайлович доверил как раз Наташе Ихменевой. Это очень наглядно видно, если сопоставить данный отрывок из романа с письмом Достоевского всё тому же Врангелю от 14 июля 1856 года:

“... Я увидел её! Что за благородная, что за ангельская душа! Она плакала, целовала мои руки, но она любит другого. Я там провёл два дня. В эти два дня она *вспомнила прошлое*, и её сердце опять обратилось ко мне. <...> Я провёл не знаю какие два дня, это было блаженство и мученье нестерпимые! К концу второго дня я уехал с *полной надеждой*. Но вполне вероятная вещь, что отсутствующие всегда виноваты. Так и случилось! Письмо за письмом, и опять я вижу, что она тоскует, плачет и опять любит его более меня! <...> Я не знаю ещё, что будет со мной без неё. Я пропал, но и она тоже...”

Далее Достоевский пересказывает другу-товарищу все резоны против брака Марии Дмитриевны с Вергуновым, каковые он перед этим высказывал горячо и ей, и своему сопернику тоже в письме, посланном на имя обоих сразу после тайной поездки в Кузнецк, и которое, увы, тоже не сохранилось. Он попытался внушить Вергунову и любимой, чуть ли не отчески, что-де ему, Николаю Борисовичу, в его 24 года, с учительским жалованием, с безрадостной перспективой так навсегда и застрять в глухоманной Сибири, не следует губить судьбу женщины старше его, образованной, выдавшей свет, большой, да ещё и имеющей на руках ребёнка. Между прочим, Фёдор Михайлович за эти два дня в Кузнецке “сошёлся” со своим молодым соперником-разлучником, который даже у него “плакал на плече”. Но, вероятно, вновь вспыхнувшие чувства к нему, учителю, со стороны Марии Дмитриевны и вновь удалённость конкурента иссушили сентиментальность Вергунова, и он не только написал Достоевскому “ответ ругательный”, но и сумел “вооружить” Исаеву против него. “Я как помешанный в полном смысле слова всё это время...” – вырывается из-под пера Фёдора Михайловича.

И что же, в конце концов, делает этот “помешанный”, униженный, вновь отставленный и теряющий последние надежды на взаимность любимой женщины и совместное счастье с нею человек? Можно было бы догадаться, зная содержание “Униженных и оскорблённых”, но проще и нагляднее дочитать данное письмо Врангелю до конца и узнать, что: 1) Достоевский продолжает активно хлопотать об устройстве сына Исаевой, Паши, воспитанником в Сибирский кадетский корпус (и хлопоты эти позже увенчаются успехом); 2) хлопотет также о выделении денежного пособия вдове Исаевой и 3) просит-умоляет Александра Егоровича подыскать новое, более денежное место... Вергунову! Да, да! Уж такие, видимо, Фёдор Михайлович испытывал “куричьи чувства”, что ради любимой женщины взялся хлопотать об устройстве судьбы своего более счастливого соперника. “Она не должна страдать. Если уж выйдет за него, то пусть хоть бы деньги были. <...> Это всё для неё, для неё одной. Хоть бы в бедности-то она не была, вот что!...”

Ровно через неделю Врангелю отсылается из Семипалатинска новое письмо, которое ярко свидетельствует об обострении ситуации и о свехкритическом состоянии, в каком находится несчастный влюблённый унтер-офицер Достоевский. И следуют опять просьбы похлопотать об устройстве Паши Исаева, единовременном пособии Марии Дмитриевне в 285 рублей серебром, каковые спасут её, ибо её брак с Вергуновым “потребуется издержек, от которых они оба года два не поправятся! И вот опять для неё бедность, опять страдание...” Казалось бы, Достоевский полностью смирился уже с происшедшим и выплакал все слёзы. Но нет, как выражаются поэты-романтики, вулкан далеко ещё не утих, и под слоем пепла клокотала раскалённая лава чувств: “... в настоящее время почти ни на что не способен и так на всё тяжело смотрю! Если б хоть опять увидеть её, хоть час один! И хотя ничего бы из этого не вышло, но по крайней мере я бы видел её! <...> теперь, ей-Богу, хоть в воду! Хоть вино начать пить!...”

Как прожил Фёдор Михайлович следующие полтора месяца – остаётся только догадываться: письменных свидетельств не сохранилось. С уверенностью можно только сказать, что он с нетерпением, лихорадочно дожидался офицерского чина. И вот в первых числах октября это произошло. Новоиспечённый прапорщик на крыльях любви устремляется спасти своё счастье, но, не имея официальной подорожной до Кузнецка, добирается только до городка Змиева. Однако ж Мария Дмитриевна на условленную встречу, увы,

не приехала. Впрочем, обратимся к очередному письму Достоевского в Петербург к Врангелю от 9 ноября 1856 года с подробным и эмоциональным отчётом о своих делах и состоянии своей души. “<...> Производство в офицеры если обрадовало меня, так именно потому, что, может быть, удастся поскорее увидеть её. <...> Люблю её до безумия, более прежнего. Тоска моя о ней свела бы меня в гроб и буквально довела бы меня до самоубийства, если б я не видел её <...> Я ни об чём более не думаю. Только бы видеть её, только бы слышать! Я несчастный сумасшедший! Любовь в таком виде есть болезнь <...> или топиться, или удовлетворить себя. <...> О, не желайте мне оставить эту женщину и эту любовь. Она была свет моей жизни...”

Но вот, кажется, Бог обращает на страдальца своё благосклонное внимание. В конце ноября прапорщику Достоевскому удаётся на пять дней приехать в Кузнецк. Точки над и наконец расставлены: Фёдор Михайлович делает официальное предложение Марии Дмитриевне и — о счастье и радость! — она отвечает “да”. Об этом он взахлёб сообщает в письмах Врангелю и брату Михаилу Михайловичу соответственно 21-го и 22 декабря 1856 года. Причём письмо брату пишется, как видим, в годовщину инсценировки казни на Семёновском плацу, о чём бывший петрашевец в пылу радости и не вспоминает. Тогда, ровнёхонько 7 лет назад, в письме тому же Михаилу звучал подлинный гимн жизни и выражалась уверенность: “Теперь уж лишения мне нипочём, и потому не пугайся, что меня убьёт какая-нибудь материальная тягость. Этого быть не может...” Здесь Достоевский имел в виду, в первую очередь, физическую тягость, трудности каторжной и солдатской жизни. Но выражение “материальная тягость” вполне может быть отнесено и к безденежью, нищете. В письме к брату из Петропавловской крепости автор “Бедных людей” восклицал: “Да, если нельзя будет писать, я погибну!...” — имея в виду, что жизнь без творчества просто не имеет для него смысла. Через 7 лет в письме к Врангелю он воскликнет почти то же самое: “Да если печатать не позволят ещё год — я пропал. Тогда лучше не жить!...” Однако ж теперь ему мало иметь право творить, ему до зарезу необходимо и зарабатывать своим творчеством деньги — ради Марии Дмитриевны, ради обеспечения их семейной жизни, дабы любимая, всё же отдавшая ему предпочтение перед соперником, вскоре горько об этом не пожалела бы.

Но опять же самое примечательное в этом послании счастливого жениха, может быть, то, что в последних строках он вновь просит своего влиятельного столичного друга-товарища (“прошу Вас на коленях”!) походатайствовать за Вергунова, устроить его в Томск на место с 1000 рублями жалования: “Теперь он мне дороже брата родного...”

Денег Достоевский назанимал, и 6 февраля 1857 года в Одигитриевской церкви г. Кузнецка состоялось венчание его с Марией Дмитриевной Исаевой. Одним из двух “поручителей по женихе” (то есть шафером-свидетелем) был учитель Кузнецкого училища... Вергунов (!). Свадьба вышла весьма пышная и многолюдная. Фёдор Михайлович был счастлив, весел и “очаровал” кузнецкое общество. Впрочем, если принять во внимание одну довольно грязную сплетню, то вполне вероятно, что под внешней весёлостью жениха клокотали обида, горечь и ревность. Любовь Фёдоровна Достоевская в книге “Достоевский в изображении своей дочери” уверенно пишет, что-де “накануне своей свадьбы Мария Дмитриевна провела ночь у своего возлюбленного, ничтожного домашнего учителя, то есть — Вергунова”. Эта, увы, жизнеподобная сплетня, видимо, тотчас же стала известна Достоевскому по приезду его в Кузнецк. Впрочем, не исключено, что уже много позже Мария Дмитриевна в минуту злой ссоры с мужем уязвила его таким признанием. Впоследствии, в минуту горькой откровенности, в свою очередь Фёдор Михайлович поделился своим давешним горем с Анной Григорьевной, а та через много лет поведала об этой некрасивой истории с первой женой Достоевского (уж Бог весть из каких соображений!) своей повзрослевшей дочери...

Однако ж — это уже не суть важно. С началом семейной жизни период запредельных страстей и *самоубийственных* настроений, связанных с любовной лихорадкой, в жизни-судьбе Достоевского как бы заканчивается. Пик его первой любви пришёлся на период жениховства, и после свадьбы накал страстей пошёл на убыль. Началась обыденная семейная жизнь, полная хозяйственных бытовых хлопот, началось, если можно так выразиться, чрезмерное непрерывное общение двух обременённых болезнями и имеющих далеко не ангельские

характеры людей. Причём у Марии Дмитриевны совершенно не было, как впоследствии у Анны Григорьевны, преклонения перед талантом (уж не говоря о гении!) своего мужа. Позже, уже после смерти первой жены, Фёдор Михайлович в письме Врангелю (31 марта – 14 апреля 1865 года) вполне трезво подытоживает-оценивает и характеризует свою семейную жизнь так: “О, друг мой, она любила меня беспредельно, я любил её тоже без меры, но мы не жили с ней счастливо. <...> несмотря на то, что мы были с ней положительно несчастны вместе (по её странному, мнительному и болезненно фантастическому характеру), – мы не могли перестать любить друг друга; даже чем несчастнее были, тем более привязывались друг к другу...”

Конечно, быт опального писателя после женитьбы значительно улучшился. По воспоминаниям дочери ротного командира Гейбовича, под началом которого служил прапорщик Достоевский, З. А. Сытиной, мы знаем, что он с женой занимал домик из четырёх комнат, и в нём было “мило, просто и уютно”, имелся даже “куст волкомерии в деревянной кадочке”. Достоевские принимали гостей, сами отдавали визиты. Одним словом, жили вполне обывательски, по-провинциальному покойно и размеренно. Можно было бы пофантазировать о том, какую сумятицу внёс в жизнь молодожёнов учитель Вергунов, который в августе 1857-го неожиданно перебирается на службу в Семипалатинск. Возобновилась или нет связь между ним и Марией Дмитриевной – осталось неизвестным. Но даже если и так, Достоевского это, скорее всего, уже никак не могло подтолкнуть к мыслям о самоубийстве. Больше того, уже сам Фёдор Михайлович, вероятно, давал своей супруге поводы для ревности. Жила в Семипалатинске какая-то таинственная Марина О., совсем молоденькая девушка, которой прапорщик-писатель давал уроки. По словам Врангеля, когда Достоевский в октябре 1865 года гостил у него в Копенгагене, они много говорили-вспоминали о Сибири, в том числе – “и о покойнице Марии Дмитриевне, и о красавице Марине О., которую так ревновала к нему (Достоевскому. – Н. Н.) его жена”.

Мария Дмитриевна умерла 15 апреля 1864 года. Ночью, находясь в комнате наедине с ещё не остывшим телом, Достоевский заносит в записную тетрадь свои размышления (“Маша лежит на столе. Увижу ли с Машей?..”), которые сложились в своеобразный философский трактат о жизни и смерти, смерти и бессмертии, предназначении человека на земле. В этой записи и сконцентрированы философские концепции Достоевского-писателя, Достоевского-мыслителя, которые он будет разрабатывать, углублять, исследовать во всех последующих своих великих романах.

Остаётся добавить, что штрихи внешности, характера и судьбы Марии Дмитриевны отразились в какой-то мере в образах Наташи Ихменевой (“Униженные и оскорблённые”), Катерины Ивановны Мармеладовой (“Преступление и наказание”) и Катерины Ивановны Верховцевой (“Братья Карамазовы”).

Аполлиария

Встреча с Аполлиарией Прокофьевной Суловой стала для Фёдора Михайловича и счастьем, и гибелью. Это была, что называется, роковая любовь. До предельного отчаяния доходил порой Достоевский в “годы близости” с этой inferнальной женщиной. При своей внешней ангельской красоте Аполлиария обладала таким далеко не ангельским характером, что могла довести до самоубийства человека и более уравновешенного, чем Достоевский. Да и сама она была склонна к суициду и даже пыталась с собой покончить. Исследователи творчества Достоевского не без основания полагают, что, вспоминая именно Аполлиарию Сулову, писатель создавал образы таких своих героинь, с мягко говоря, своеобразными характерами, как Настасья Филипповна (“Идиот”), Лиза (“Бесы”), Катерина Ивановна (“Братья Карамазовы”), ну и, конечно, в первую и главную очередь – Полина в “Игроке”.

Роман их начался вполне логично. Молодая вольнослушательница Петербургского университета (ей чуть больше 20-ти) и начинающая писательница знакомится с сорокалетним Достоевским во время одного из литературных вечеров в самом начале 1861 года, предлагает в журнал “Время” свою повесть “Покуда”, которая вскоре благополучно и появляется на его страницах. Естественно, знакомство юной красивой и эмансипированной авторши с фактическим редактором журнала перерастает в более серьёзное и взаимное чувство.

Ни разница в возрасте почти в двадцать лет, ни наличие хотя уже и не страстно любимой и к тому же серьёзно больной, но всё же законной супруги, ни хроническое безденежье (обстоятельство, отнюдь не красящее мужчину-ухажёра) — ничто не остановило, не удержало Фёдора Михайловича от сладостного, но опрометчивого сближения с Аполлиinarieй Прокофьевной. В свою очередь, ни разница в возрасте, ни семейно-брачная несвобода избранника, ни его безденежье, ни даже собственная девическая невинность (в те времена ещё чрезвычайно немаловажный фактор!) также не остановили молодую девушку от притягательного, но опрометчивого шага. *“Они сошлись — вода и камень...”*

Начальный, петербургский, период их отношений хотя и был окрашен, как это всегда и бывает, ярким пламенем вдруг вспыхнувшей страсти, но несколько омрачался тем, что приходилось таиться, осторожничать, сдерживать проявления своих чувств. По-настоящему любовь их должна была разгореться в совместном путешествии по заграницам — подальше от дома, от Марии Дмитриевны, от журнальных обременительных забот, от досаждающих кредиторов, которые, конечно же, не способствовали поддержанию приподнятого настроения, столь необходимого в страстной безрассудной любви.

Эта любовь возродила его мечты на подлинные, настоящие и животворные отношения с женщиной, которые только и смогут сделать жизнь мужчины по-настоящему полноценной и счастливой. Небеса, конечно же, никак не могли благословить эту связь, эту преступную с точки зрения морали и строгих моралистов любовь-страсть.

Итак, Аполлилария первой, не дождавшись Достоевского (катастрофа с закрытием “Времени” задержала его), выезжает за границу и дожидается Фёдора Михайловича в Париже. Заметим, к слову, что крушение журнала уже можно рассматривать как наказание свыше за безрассудную и преступную связь. Но истомившийся до предела любовник, вырвавшийся наконец из России, и не подозревает, что произошло уже и катастрофическое крушение его любви и что в Париже ему предстоит упасть в бездну отчаяния. Не только предмет любви влёт Достоевского за границу. Конечно, любимая, желанная и также сгорающая (как ему ещё грезилось) от взаимной страсти женщина, это, разумеется, во-первых. Во-вторых, он снова увидит Европу, свои любимые уже места и шедевры мировой живописи. Ну, а в-третьих, наконец-то суждено ему и в полной мере вкусить пьянящую, колдовскую, сладкую отраву рулеточной игры, сорвать в единый миг громадный куш и выскочить в конце концов из нищеты раз и навсегда, о чём он тоже давно уже в мечтах грезил...

“Во-вторых” удалось-получилось вполне: писатель вновь, как и за год до того, успел за короткий срок побывать в Германии, Франции, Швейцарии, Италии. Что касается “в-третьих”, то и это поначалу удалось словно бы по волшебству: в первую же игру в Висбадене Достоевский выигрывает громадную для него сумму — 10 000 франков. Это примерно около 2500 рублей, и если учесть, что Фёдор Михайлович выехал из Петербурга с теми жалкими остатками от 1500 рублей, выданных ему в долг Литфондом, что сохранились после расчёта с кредиторами и оставления некоторых сумм на расходы жене, пасынку и вдове брата, — то можно представить, каким Крёзом почувствовал он себя и в какой эйфории пребывал после баснословного выигрыша. Правда, уже вскоре он проиграл пять тысяч франков. Фёдору Михайловичу удалось каким-то чудом прервать опьянение игрой, скрутить себя и уехать из Висбадена с этой половиной выигрыша прочь. Отослав часть денег страждущим родственникам в Петербург, он устремляется, наконец, в Париж, где его уже дожидается ужасный катаклизм с его мечтательным пунктом “во-первых”.

Вот здесь-то и проявился ещё раз наглядно “закон спирали” в судьбе Достоевского: как и в случае с Марией Дмитриевной за несколько лет до того, всё повторилось вплоть до деталей: вновь стоило Фёдору Михайловичу отпустить от себя любимую, как на пути её встречается молодой и совершенно ничтожный красавчик, и возлюбленная Достоевского теряет голову, предаёт их жаркую любовь и вообще собирается связать свою судьбу с новым любовником.

Биографам Достоевского повезло, что в данной истории любви оба главных героя — литераторы. И Аполлилария Сулова сочинила на этом материале свою уже давно забытую читателями повесть “Чужая и свой”, и Фёдор

Михайлович написал свой известный роман “Игрок”, а кроме того, многие страницы дневника Сусловой посвящены её взаимоотношениям с Достоевским, и нередко в письмах писателя тех лет упоминается имя Аполлинарии.

Хотя бы пунктирно восстановим фабулу этой любовной драмы. Сулова встречается в Париже некоего молодого студента-испанца Сальвадора, влюбляется, отдаётся ему и пытается остановить Достоевского от приезда письмом-признанием: “Ты едешь немного поздно...” Фёдор Михайлович не успел получить ошеломительное известие и вынужден был пережить потрясение в непосредственном разговоре с любимой. Вот как по горячим следам мелодраматично изобразила эту доподлинно драматическую сцену сама Аполлинария в своём дневнике. Она сообщила ему, что уже поздно:

“Он опустил голову.

— Я должен всё знать, пойдём куда-нибудь и скажи мне, или я умру...

<...> Когда мы вошли в его комнату, он упал к моим ногам и, сжимая, обняв с рыданием мои колени, громко зарыдал: “Я потерял тебя, я это знал!...”

Простим третьестепенной писательнице Сусловой это “с рыданием... зарыдал”, но предельное отчаяние Фёдора Михайловича она передать сумела. И дальше в дневнике — поразительная подробность, совершенно точно и знаменательно характеризующая автора “Белых ночей”, “Униженных и оскорблённых” и копирующая, опять же, его сибирский период жениховства. Он пытается у Сусловой, кто же такой его счастливый соперник, и, узнав подробности, ощущает “гадкое”, но даже в чём-то и утешительное чувство: “...ему стало легче, что это не серьёзный человек, не Лермонтов”. Надо полагать, пошли Судьба соперниками Достоевскому не ничтожных вергуновых-сальвадоров, а Лермонтова или, допустим, Льва Толстого, то Фёдор Михайлович вряд ли пережил бы тогда победу такого соперника...

Пока же он, совершенно в духе и стиле своих героев, уговаривает Аполлинарию не порывать до конца отношений с ним, Достоевским, он согласен оставаться-быть всего лишь другом, братом — кем угодно, лишь бы находиться рядом, сохранять хоть какие-то надежды на возвращение её любви и совершить вместе, как они и мечтали, путешествие по Европе. И, как ни поразительно, именно так всё и случилось: они действительно путешествовали вместе (испанец, как говорится, добившись своего, вскоре Сулову бросил), останавливались в гостиницах в одном номере, правда, двухкомнатном, но всё время находились вдвоём, наедине, и отношения между ними установились совершенно фантазмагорические. Вот ещё характерные фрагменты дневника Аполлинарии:

“...Часов в десять (вечера) мы пили чай. Кончив его, я, так как в этот день устала, легла на постель и попросила Фёдора Михайловича сесть ко мне ближе. Мне было хорошо. Я взяла его руку и долго держала в своей. Он сказал, что ему так очень хорошо сидеть. <...> Вдруг он внезапно встал, хотел идти, но запнулся за башмаки, лежавшие подле кровати, и так же поспешно воротился и сел.

— <...> Ты не знаешь, что сейчас со мной было! — сказал он с странным выражением.

— Что такое? — Я посмотрела на его лицо, оно было очень взволнованно.

— Я сейчас хотел поцеловать твою ногу.

— Ах, зачем это? — сказала я в сильном смущении, почти испуге и подбрав ноги.

— Так мне захотелось, и я решил, что поцелую.

Потом он меня спрашивал, хочу ли я спать, но я сказала, что нет, хочется посидеть с ним.

<...> Потом он целовал меня очень горячо...

<...> Сегодня он напомнил о вчерашнем дне и сказал, что был пьян.

<...> Вчера Фёдор Михайлович опять ко мне приставал. Он говорил, что я слишком серьёзно и строго смотрю на вещи, которые того не стоят...

<...> У него была мысль, что это каприз, желание помучить.

— Ты знаешь, — говорил он, — что мужчину нельзя так долго мучить, он, наконец, бросит добиваться...

<...> Я с жаром обвила его шею руками и сказала, что он для меня много сделал, что мне очень приятно.

— Нет, — сказал он печально, — ты едешь в Испанию.

Мне как-то страшно и больно – сладко от намёков о С<альвадоре>. <...> Какая бездна противоречий в отношениях его ко мне!

Фёдор Михайлович опять всё обратил в шутку и, уходя от меня, сказал, что ему унизительно так меня оставлять (это было в 1 час ночи. Я раздетая лежала в постели). “Ибо россияне никогда не отступали...”

Только представить себе: Аполлинария мечтает-грезит о Сальвадоре, но не в силах пока расстаться и с Достоевским; он же сгорает от страсти к ней, жаждет добиться прежней близости, предлагает настойчиво руку и сердце (ещё при живой-то жене!), однако ж она жестоко кокетничает, играет с ним, поддерживая пламя его страсти, но почти не допуская к себе, и, по горькой догадке Фёдора Михайловича, не может ему простить, что отдала ему свою невинность, и теперь мстит. Но она, в свою очередь, вероятно, искренне была убеждена, что это он её заставлял и заставляет страдать, и признаётся уже позже (запись от 24 сентября 1864 года), что порою просто ненавидела его за эти причиняемые ей страдания...

Во многом убедительные акценты во взаимоотношениях писателя с Аполлинарией расставил ещё А. С. Долинин в 1928 году во вступительной статье к книге А. П. Суловой “Годы близости с Достоевским”. Так, нельзя не согласиться с известным достоевсковедом, к примеру, в том, что глубинные психологические мотивы их любви-ненависти можно обнаружить в “Записках из подполья”, в “Идиоте” (Настасья Филипповна – Тоцкий) и даже в “Исповеди Ставрогина”. Сулова объясняла в дневнике причину вспышек своей ненависти к Достоевскому, в частности, и тем, что он “первый убил в ней веру”. Он, со своей стороны, понимал это, чувствовал вину свою: недаром идея “Записок из подполья” вытеснила на время идею-замысел “Игрока”, который был задуман раньше. Нет, сначала как бы покаяние, исповедь, потом – описание, сам роман. Да, такова натура, такова двойственность! Искренне, совершенно искренне мечтает быть только братом, спасителем, утешителем, а в результате опять побеждает двойник, сладострастное второе “я”.

Сама Аполлинария, прочитав ещё только первую часть “Записок из подполья” и не догадываясь о непосредственных переключках сюжета повести с их историей любви, упрекала в письме автора: “Что ты за скандальную повесть пишешь? <...> Мне не нравится, когда ты пишешь цинические вещи. Это тебе как-то не идёт...” Надо думать, вторую часть “Записок из подполья” Сулова читала не так *брюзгливо* и более заинтересованно. Она не могла не разглядеть, не вспомнить в мучительных сценах повествования Достоевского отблески мучительных сцен их совместного житья-существования в гостиницах Парижа и Италии...

А они и тогда, и ещё некоторое время потом друг друга мучили, мучили и мучили. Без меры и бесконечно.

Позже в письме к сестре Аполлинарии, Надежде Прокофьевне, уже слегка остыв, Достоевский всё равно сверхэмоционально описывает свою возлюбленную и свои взаимоотношения с нею, не в состоянии скрыть, затушевать свою яростную обиду: “Аполлинария – большая эгоистка. Эгоизм и самолюбие в ней колоссальны. Она требует от людей *всего*, всех совершенств, не прощает ни единого несовершенства в уважение других хороших черт, сама же избавляет себя от самых малейших обязанностей к людям. Она колет меня до сих пор тем, что я не достоин был любви её, жалуется и упрекает меня беспрерывно, сама же встречается меня в 63-м году в Париже фразой: “Ты немножко опоздал приехать”, – то есть что она полюбила другого, тогда как две недели тому назад ещё горячо писала, что любит меня. Не за любовь к другому я корю её, а за эти четыре строки, которые она прислала мне в гостиницу с грубой фразой: “Ты немножко опоздал приехать”. (В обиде-гневе у профессионального писателя проскакивает не совсем точное словцо-определение: фраза, так ранившая его сердце и запавшая в память, не “грубая”, она – издевательская, почти ёрническая, уничижительно-насмешливая по смыслу и лексической окраске! – **Н. Н.**)

<...> Я люблю её ещё до сих пор, очень люблю, но я уже *не хотел* бы любить её. Она не *стоит* такой любви. Мне жаль её, потому что, предвижу, она вечно будет несчастна...”

И чуть дальше в этом письме прорывается настоящий вскрик-стон доведённого уже до полного отчаяния человека: “...Ведь она знает, что я люблю её до сих пор. Зачем же она меня мучает? Не люби, но и не мучай...”

Их трагедия усугублялась ещё и тем, что оба они одновременно выступали и в роли волка, пожирающего овцу, и в роли овцы, пожираемой волком. О степени отчаяния Достоевского (“Не люби, но и не мучай...”) можно составить представление, вчитываясь именно в текст “Игрока”. И для начала, как это ни парадоксально, следует обратить внимание не на главного героя, Алексея Ивановича, – безусловного alter ego автора, – а на генерала, вернее, на одно существенное замечание по его адресу. Вот оно: “... генерал так влюбился, что, пожалуй, застрелится, если mademoiselle Blanche его бросит. В его лета так влюбляться опасно...”

Достоевскому в “годы близости” с Суловой было уже за сорок, он был старше неё почти вдвое и, конечно же, в этом плане как бы является прототипом генерала, а не Алексея Ивановича, которому всего лишь чуть больше двадцати. Именно в лета Фёдора Михайловича так влюбляться было опасно. И здесь есть ещё один чрезвычайно существенный нюанс, который весьма многозначителен. Дело в том, что замечание по поводу гипотетического самоубийства генерала от несчастной любви принадлежит Алексею Ивановичу, и роняет он его в разговоре с Полиной. И как же реагирует она? Полина задумчиво соглашается: “– Мне самой кажется, что с ним что-нибудь будет...” Вот так доброе женское сердечко!

Отношения Достоевского с Суловой продолжались и позже, вплоть до 1867 года, но практически только на эпистолярном уровне, однако ж и это доставляло минуты ревности уже второй жене писателя Анне Григорьевне. В последнем своём письме к Аполлинии (23 апр. /5 мая/ 1867 года) Достоевский попрощался с ней так: “До свидания, друг вечный!...”

Предвидение-пророчество Фёдора Михайловича в письме к её сестре о том, что Аполлиния “вечно будет несчастна”, оправдалось полностью. В любви она терпела одни катастрофы, с родными и близкими ужиться не могла. Вышла замуж только в 40 лет (в 1880 году, ещё при жизни Достоевского) за писателя и философа В. В. Розанова, которому было 24 и который женился на ней во многом из-за благоговейного отношения к Достоевскому; через 6 лет они расстались, но “Суслиха” (выражение Розанова) целых 20 лет не давала развода мужу, который создал другую семью.

В общественной жизни, как ни пыталась, тоже никак не сумела определиться, найти своё место, хотя играла роль эмансипированной женщины и нигилистки. Она всё время жила, как в горячке, отвергая действительное, вечно недовольная, неудовлетворённая, страдающая и мучающая, заставляющая страдать других людей. И в литературном творчестве она искала какой-то выход, способ утвердиться в этом мире, понять его и себя в нём. Из её дневников и беллетристических опытов и можно понять, как часто эта красивая, гордая, незаурядная, но и страшно несчастная женщина находилась на краю самоубийства. И особенно важно подчеркнуть, что Достоевский был в курсе её суицидальных намерений.

Именно в те парижские дни, когда Достоевский узнаёт, что “немножечко опоздал приехать”, когда он сам находится на грани отчаяния, а Аполлиния, словно зло пародируя соответствующие сцены из “Униженных и оскорблённых”, продолжает встречаться с Сальвадором и посвящает Фёдора Михайловича во все подробности своих взаимоотношений с испанцем, она и решает покончить жизнь самоубийством. В дневнике она подробничает, как сожгла перед этим некоторые свои тетради и компрометирующие письма (вот когда, вероятно, погребло и несколько бесценных писем влюблённого писателя!), как провела ночь в мыслях о самоубийстве, как пришла утром к Фёдору Михайловичу плакаться в жилетку, как он её успокоил и на время примирил с гнусной жизнью и подлостью Сальвадора...

О том, что и запутанные, мучительные отношения с Достоевским тоже чуть не довели эту роковую женщину до суицида, мы можем в какой-то мере судить по сюжету документально-мемуарной повести Суловой “Чужая и свой”: в конце героиня её, Анна Павловна – alter ego Аполлинии Прокофьевны – бросается в реку...

Даже удивительно, что эта женщина дожила до преклонного возраста (почти до 80-ти!) и умерла в 1918 году собственной смертью, к слову, в один год с Анной Григорьевной Достоевской и совсем невдалеке от неё, тоже в Крыму. Ещё в 1865 году, в период агонии взаимоотношений с автором “Униженных и оскорблённых”, Сулова формулирует в дневнике: “Покинет ли

меня когда-нибудь гордость? Нет, не может быть, лучше умереть. Лучше умереть с тоски, но свободной, независимой от внешних вещей <...> я нахожу жизнь так грубой и так печальной, что я с трудом её выношу. Боже мой, неужели всегда будет так! И стоило ли родиться!..”

Анна

Встреча с Анной Григорьевной Сниткиной была в полном смысле слова для Достоевского судьбоносной...

Как известно, он весьма недобро и даже злобно отзывался до конца дней своих о Ф. Т. Стелловском. Писатель считал, что этот издатель-спекулянт ограбил его, и судился с ним как с заклятым врагом. И это доказывает, что Достоевский, как и многие гениальные люди, в обыденной жизни, в обстоятельствах и следствиях собственной судьбы не всегда верно расставлял акценты, был наивен, мог весьма бездарно ошибаться в оценке событий. По сути, ему, Фёдору Михайловичу, надо было бы до конца дней господина Стелловского (он умер в 1875-м) числить в ближайших друзьях-приятелях, после кончины же – вспоминать только добрым словом. Давайте попробуем посмотреть на их сделку-контракт 1865 года не глазами Достоевского, а беспристрастно, как бы со стороны. Получится у нас следующее.

а) Стелловский решился издать и издал четырёхтомное собрание сочинений писателя, известность которого в то время была далеко ещё не такой, какой стала она после “Преступления и наказания”, чем способствовал, без сомнения, росту его популярности. Достоевскому не случайно не удалось найти иной выход из денежного тупика – кто бы из тогдашних издателей, кроме Стелловского, рискнул заключить контракт с относительно молодым ещё автором и выплатить ему деньги вперёд?..

б) Во многом благодаря этому, казалось бы, кабальному контракту и появилось на свет одно из самых цельных произведений, приоткрывшее читателям и исследователям внутренний мир Достоевского, – роман “Игрок”.

в) Именно благодаря деньгам “спекулянта” Стелловского писатель смог вырваться за границу, по сути – на последнее горестно-сладостное свидание с Аполлиной...

г) И, наконец, – самое главное: только благодаря Стелловскому Фёдор Михайлович встретился с Анной Григорьевной! И это бесспорно и однозначно для любого человека, верующего или не верующего в предопределение человеческой судьбы свыше и влияющие случая на жизнь каждого из нас.

Анна Сниткина была послана Достоевскому судьбою (при посредничестве Стелловского) за все его прежние и ещё грядущие горести, лишения, испытания, болезни и страдания. Благодаря ей свои последние и самые плодотворные четырнадцать лет жизни Достоевский прожил по-человечески счастливо – любовь, ласка, внимание, забота, терпение и понимание со стороны юной супруги компенсировали вечному страдальцу и больному гению все тяготы бытия. Даже можно сказать, что Анна Григорьевна продлила дни Фёдора Михайловича. Если существует такое понятие – *идеальная писательская жена*, то первой и, вероятно, единственной кандидаткой на это звание была и остаётся на все времена (по крайней мере, в русской литературе) именно Анна Григорьевна Достоевская. Недаром Л. Н. Толстой сказал однажды не без оттенка зависти: “Многие русские писатели чувствовали бы себя лучше, если бы у них были такие жёны, как у Достоевского...”

Вернёмся, однако ж, от лирики к исследовательским заботам. Подробно-сти объяснения в любви и предложения руки и сердца 20-летней *стенографке* Анне Григорьевне Сниткиной со стороны автора “Игрока” хорошо известны из её “Воспоминаний”. Воссоздадим здесь вкратце, как это случилось.

30 октября 1866 года, между прочим, – в самый день рождения Достоевского (а исполнилось ему ровно сорок пять) – Анна Григорьевна преподнесла писателю лучший из подарков – последнюю переписанную стенограмму законченного романа. С одной стороны, безмерная радость автора (обязательства перед Стелловским выполнены!), с другой – грусть и тоска на сердце (милая *стенографка* исчезнет навсегда из его жизни!). Однако ж они уговариваются работать совместно и дальше – теперь уже над продолжением “Преступления и наказания”. И вот наступает в жизни обоих судьбоносный день – 8 ноября 1866 года. Достоевский рассказывает Анне Григорьевне

сюжет как бы задуманного им нового романа, и якобы никак ему не обойтись без консультации Анны Григорьевны по части девичьей психологии. Впоследствии “консультантка” будет вспоминать:

“Я с гордостью приготовилась “помогать” талантливому писателю.

— Кто же герой вашего романа?

— Художник, человек уже не молодой, ну, одним словом, моих лет...

<...> художник встречается на своем пути молодую девушку ваших лет или на год-два постарше. Назовем её Аней...

<...> Художник <...> чем чаще её видел, тем более она ему нравилась, тем сильнее крепло в нём убеждение, что с нею он мог бы найти счастье. И, однако, мечта эта представлялась ему почти невозможной. <...> Не была ли бы любовь к художнику страшной жертвой со стороны этой юной девушки, и не стала ли бы она потом горько раскаиваться, что связала с ним свою судьбу? Да и вообще, возможно ли, чтобы молодая девушка, столь различная по характеру и по летам, могла полюбить моего художника? <...>

— Почему же невозможно? Ведь если, как вы говорите, ваша Аня не пустая кокетка, а обладает хорошим, отзывчивым сердцем, почему бы ей не полюбить вашего художника? <...> Если она его любит, то и сама будет счастлива, и раскаиваться ей никогда не придётся!

Я говорила горячо. Фёдор Михайлович смотрел на меня с волнением.

— И вы серьёзно верите, что она могла бы полюбить его искренно и на всю жизнь?

Он помолчал, как бы колеблясь.

— Поставьте себя на минуту на её место, — сказал он дрожащим голосом. — Представьте, что этот художник — я, что я признался вам в любви и просил быть моей женой. Скажите, что вы бы мне ответили?

Лицо Фёдора Михайловича выражало такое смущение, такую сердечную муку, что я, наконец, поняла, что это не просто литературный разговор и что я нанесу страшный удар его самолюбию и гордости, если дам уклончивый ответ. Я взглянула на столь дорогое мне, взволнованное лицо Фёдора Михайловича и сказала:

— Я бы вам ответила, что вас люблю и буду любить всю жизнь!

Я не стану передавать те нежные, полные любви слова, которые говорил мне в те незабвенные минуты Фёдор Михайлович: они для меня священны...

А вот как ту же сцену воссоздаёт писатель в художественном произведении — слегка уменьшив возраст обоих героев: Сергею Михайловичу — 36 лет, Маше — 17. Сцена даётся опять же через восприятие героини, её глазами. Итак:

“— Представьте себе, что был один господин, А положим, — сказал он, — старый и отживший, и одна госпожа Б, молодая, счастливая, не выдавшая ещё ни людей, ни жизни. <...> он полюбил её как дочь, и не боялся полюбить иначе.

Он замолчал, но я не прерывала его.

— Но он забыл, что Б так молода, что жизнь для неё ещё игрушка, — продолжал он вдруг скоро и решительно и не глядя на меня, — и что её можно полюбить иначе, и что ей это весело будет...

— Отчего же он боялся полюбить иначе? — чуть слышно сказала я, сдерживая своё волнение...

— Вы молоды, — сказал он, — я не молод. Вам играть хочется, а мне друтого нужно <...>. И не будем больше говорить об этом. Пожалуйста!

— Нет! нет! будем говорить! — сказала я, и слёзы задрожали у меня в голосе. — Он любил её или нет?

Он не отвечал.

— А ежели не любил, так зачем он играл с ней, как с ребёнком? — проговорила я.

— Да, да, А виноват был, — отвечал он, торопливо перебивая меня, — но всё было кончено, и они расстались... друзьями.

— Но это ужасно! и разве нет другого конца, — едва проговорила я и испугалась того, что сказала.

— Да, есть, — сказал он, открывая взволнованное лицо и глядя прямо на меня. — Есть два различные конца. <...> Одни говорят <...>, что А сошёл с ума, безумно полюбил Б и сказал ей это... А она только смеялась... <...> другие говорят, будто она сжалась над ним, вообразила себе, бедняжка,

не выдавшая людей, что она точно может любить его, и согласилась быть его женой. И он, сумасшедший, поверил. Поверил, что вся жизнь его начнётся снова, но она сама увидела, что обманула его, и что он обманул её...”

Эта эмоциональная сцена-диалог заканчивается, в конце концов, тем, что героиня, со своей стороны, признаётся в своей любви к “А”, и её младшая сестрёнка Соня, которая подслушивала у двери, бежит оповестить всех домашних, что “Маша хочет жениться на Сергее Михайловиче...”

Из какого же это произведения?..

Впрочем, пора признаться, да и, думается, вряд ли кого ввела в заблуждение эта невинная мистификация – не тот стиль, не тот слог: да, это сцена-отрывок из ранней повести Л. Н. Толстого “Семейное счастье”. Но какая поразительная переключка! Это произведение (которым, к слову, автор был крайне неудовлетворён) было опубликовано ещё в апреле 1859 года в “Русском вестнике” – как раз в то время, когда Достоевский, возвращаясь в литературу и вернувшись в Россию, жадно вчитывался в страницы свежих журналов и особенно в произведения Л. Толстого, который чрезвычайно заинтересовал его ещё в Сибири своими первыми повестями о детстве и отрочестве.

Как известно, у Достоевского почти нет ни одного слова без оглядки на чужое слово: полемика, пародия, парафраз, реминисценция, аллюзия, скрытая и прямая цитата – вот кровеносная система его творчества. В данном случае Достоевский как бы использовал, скрыто процитировал-воспроизвёл и даже в чём-то спародировал в личной реальной жизни сцену из литературного произведения другого писателя. Примечательно, что однажды, когда у супругов Достоевских в задушевной беседе всплыли воспоминания о начале их любви-сближения и забываемой сцене объяснения в виде иносказательного романного сюжета, Достоевский, напрочь забыв и о Л. Толстом, и о своём вольном или невольном *плагиате*, похвастался юной супруге: “А впрочем, я вижу, что рассказанный мною тогда роман был лучший из всех, когда-либо мною написанных...”

Но ещё более примечательно то, что заглавие повести Л. Толстого воспринимается, по ходу чтения произведения, зеркально и саркастически горько: никакого семейного счастья у Маши с Сергеем Михайловичем не получается – одни страдания, терзания, упрёки, вражда амбиций и непонимание друг друга. Совсем не то в жизненно-реальном романе Достоевских под названием “Семейное счастье”.

Свидетельствует ОН:

“Тебя бесконечно любящий и в тебя бесконечно верующий <...> Ты моё будущее всё – и надежда, и вера, и счастье, и блаженство, – всё...” (9 декабря 1866 г. – Он ещё жених.)

“...думаю о тебе поминутно. Анька, я тоскую о тебе мучительно! Днём перебираю в уме все твои хорошие качества и люблю тебя ужасно <...> Голубчик, я ни одной женщины не знаю равной тебе. <...> вечером и ложась спать (это между нами) думаю о тебе уже с мученьем, обнимаю тебя мысленно и целую в воображении всю (понимаешь?). Да, Аня, к тоске моего уединения недоставало только этого мученья; должен жить без тебя и мучиться. Ты мне снишься обольстительно; видишь ли меня-то во сне? Аня, это очень серьёзно в моём положении, если б это была шутка, я б тебе не писал. Ты [боясь] говорила, что я, пожалуй, пушусь за другими женщинами здесь за границей. Друг мой, я на опыте теперь изведаль, что и вообразить не могу другой, кроме тебя. Не надо мне совсем других, мне тебя надо, вот что я говорю себе каждодневно...<...> Я тебя истинно люблю и молюсь за вас всех каждый день горячо...” (16/28/ июня 1874 г. Эмс. – 8,5 лет семейной жизни.)

“Милый ангел мой, Аня: становлюсь на колени, молюсь тебе и целую твои ноги. Влюблённый в тебя муж твой! Друг ты мой, целые 10 лет я был в тебя влюблён и всё *crescendo*, и хоть и ссорился с тобой иногда, а всё любил до смерти. Теперь всё думаю, как тебя увижу и обниму...” (15-16 июля 1877 г. – Без комментариев.)

“Ангел мой, пишешь мне милую приписочку, что часто снюсь тебе во сне и т. д. А я об тебе мечтаю больше наяву. Сижу пью кофей или чай и только о тебе и думаю, но не в одном этом, а и во всех смыслах. И вот я убедился, Аня, что я не только люблю тебя, но и влюблён в тебя, и что ты единая моя

госпожа, и это после 12-ти лет! Да и в самом земном смысле говоря, это тоже так, несмотря на то, что ведь, уж конечно, ты изменилась и постарела с тех пор, когда я тебя узнал ещё девятнадцати лет. Но теперь, веришь ли, ты мне нравишься и в этом смысле несравненно более, чем тогда. Это бы невероятно, но это так. Правда, тебе ещё только 32 года, и это самый цвет женщины <5 строк нрзб.> это уже непобедимо привлекает такого, как я. Была бы вполне откровенна – была б совершенство. Целую тебя поминутно в мечтах моих всю, поминутно взасос. Особенно люблю то, про что сказано: “И предметом сим прелестным восхищён и упоён он”. – Этот предмет целую поминутно во всех видах и намерен целовать всю жизнь. Анечка, голубчик, я никогда, ни при каких даже обстоятельствах в этом смысле не могу отстать от тебя, от моей восхитительной баловницы, ибо тут не одно лишь это баловство, а и та готовность, та прелесть и та интимность откровенности, с которою это баловство от тебя получаю. До свидания, договорился до чёртиков, обнимаю и целую тебя взасос...” (4 /16/ августа 1879 г. Эмс. – Без комментариев.)

“Крепко обнимаю тебя, моя Анька. Крепко целую тебя <...>. Ты пишешь, что видишь сны, а что я тебя не люблю. А я всё вижу прескверные сны, кошмары, каждую ночь о том, что ты мне изменяешь с другими. Ей-богу. Страшно мучаюсь. Целую тебя тысячу раз...” (3-4 июня 1880 г. Москва. – Одно из самых последних посланий Достоевского к жене.)

Письма Достоевского к ней (а их сохранилось более 160!) с пылками, довольно чувственными, порой откровенно-интимными признаниями-излияниями можно цитировать страницами. Причём, надо ещё помнить, что часть писем не сохранилась, а в дошедших до нас Анна Григорьевна самолично, готовя их к изданию, густо зачеркнула или стёрла резинкой самые, по её мнению, откровенно-интимные фрагменты. Таких цензурных купюр, к сожалению для нас, в семейном эпистолярии Достоевского немало. В этом сожалении нет ничего предосудительного, ибо сам Достоевский, успокаивая осторожную Анну Григорьевну, собственноручно как бы выписал тогдашним любопытствующим перлюстраторам и будущим дотошным исследователям-биографам индальгенцию от себя (16 /28/ августа 1879 г.): “Пишешь: А ну если кто читает наши письма? Конечно, но ведь и пусть; пусть завидуют...”

В контексте данной темы содержится один совершенно, казалось бы, необъяснимый парадокс: безгранично любя Анечку, Аньку, Аню, Анну, Анну Григорьевну – жену, любовницу, мать своих детей, самого близкого и конфиденциального друга-товарища, незаменимого помощника в работе, Достоевский ни разу, ни в едином произведении не вывел её образ, не выплеснул свои чувства к ней на страницах своих поздних романов. Более того, он, диктуя супруге-стенографистке новые произведения, с её помощью вновь и вновь воссоздавал-высвечивал в образах отдельных своих героинь облик и характер незабываемой Аполлинии... Здесь может быть только одно объяснение: Фёдор Михайлович с помощью своего главного орудия-лекарства – творчества – пытался избавиться от мучительной и совершенно уже излишней, ненужной, мешающей жить любви-страсти к Суловой. Любовь же супружеская к Анне Григорьевне настолько была жива, полнокровна, взаимна и счастлива, что не было никакой необходимости и охоты вытеснять её из собственной души, делиться ею с кем бы то ни было. Достоевскому вполне хватало для полного выражения восторга своих чувств глубоко личных писем к жене. Надо ли говорить, как сама Анна Григорьевна ценила эти письма-признания мужа! Она, по её словам, читала-перечитывала их сотни раз и после смерти Фёдора Михайловича всюду возила с собой, никогда не расставалась с ними и ценила чуть ли не выше всех великих романов мужа-гения.

У самой Анны Григорьевны всё наоборот. Она, прекрасно понимая, за кого вышла замуж, справедливо и дальновидно предполагала, что переписка их с мужем рано или поздно будет опубликована, и потому письма её к безупречно и горячо любимому супругу гораздо суше, чем его, по тону, осторожнее по лексике, менее откровенны в части проявления чувств. Сам Фёдор Михайлович даже укорял жену и обижался не на шутку: “Так как ты присылаешь письма довольно *постные*, то и я на сей раз не выказываю чувств моих, как прежде, хотя и *подтверждаю* всё, что писал прежде. Люблю тебя побольше, чем ты меня, это уж конечно...”

Но и в письмах Анны Григорьевны к мужу (их дошло до нас 75) можно среди сухих домашне-хозяйственных известий и обыденно-бытовых забот

о делах и здоровье мужа отыскать крупницы проявления сильных любовных чувств.

Итак, свидетельствует ОНА:

“Цалую милого Фечту (младшего сына Федю. — **Н. Н.**) миллионы раз. Ты не поверишь, как мне без него тучно. Милый, милый мой Фечта! (не ты, конечно, а другое дорогое маленькое существо). Я и тебя, милый Федя, очень, очень люблю и скучаю по тебе, вероятно, более, чем ты по мне...” (10 июня 1872 года, — как видим, в данном случае признание в любви выглядит как-то странно, как бы вынужденное, в виде оправдания, но — признание!).

“Я решила тотчас отправить телеграмму и спросить, лучше ли тебе, и если не лучше, то хотела выехать завтра в Петербург. Я живо собралась, но только что вышла в переднюю, как вошёл посланный с телеграммой. Я так была болезненно настроена, что, увидав телеграмму, просто сошла с ума; я страшно закричала, заплакала, вырвала телеграмму и стала рвать пакет, но руки дрожали, и я боялась прочесть что-нибудь ужасное, но только плакала и громко кричала. На мой крик прибежал хозяин и вместе с телеграфистом стали меня успокаивать. Наконец, я прочла и безумно обрадовалась, так что долго плакала и смеялась. Так как я об тебе беспокоилась, то при виде телеграммы мне представилось, или что ты очень плох, или даже умер. Когда я держала телеграмму, то мне казалось, если я прочту, что ты умер, — я с ума сойду. Нет, милый Федя, если бы ты видел мой ужасный испуг, ты не стал бы сомневаться в моей любви. Не приходят в такое отчаяние, если мало любят человека...” (16 августа 1873 года. — А это уже непосредственное, искреннее, пред лицом пусть и мнимой, но смертельной опасности из сердца вырвавшееся проявление глубочайших чувств!)

“Милый, милый, тысячу раз милый Федичта, мне без тебя тоже *очень, очень* скучно. Я очень мечтаю о твоём приезде и рада, что теперь тебе осталось лечиться меньше трёх недель. Твои письма я часто перечитываю и всегда жалею, что нет ещё третьего листа. Каждую ночь я непременно около часу ночи просыпаюсь от сна, в котором видела тебя, и лежу с полчаса, всё тебя себе представляю. Дорогой ты мой, я тебя очень сильно люблю, ценю тебя и уважаю; я знаю, что ни с кем я не была бы так счастлива, как с тобою; знаю, что ты лучший в мире человек. До свидания, моё милое сокровище, цалую и обнимаю тебя много раз, остаюсь любящая тебя страстно жена Аня...” (22 июня 1874 года. — Без комментариев.)

“Спасибо тебе, моё золотое сокровище, за твои милые, дорогие письма. Радуют они меня несказанно. Люблю тебя я, дорогой мой, безумно и очень вино себя за то, что у нас идёт иногда шероховато. А всё нервы, всё они виноваты. Тебя же я люблю без памяти, вечно тебя представляю и ужасно горжусь. Мне всё кажется, что все-то мне завидуют, и это, может быть, так и есть. Не умею я высказать только, что у меня на душе, и очень жалею об этом. А ты меня люби, смотри же, голубчик мой, люби. Цалую и обнимаю тебя горячо и остаюсь любящая тебя чрезвычайно Аня.

Всё вижу восхитительные сны, но боюсь их рассказывать тебе, а то ты Бог знает что пишешь, а вдруг кто читает, каково?...” (11 августа 1879 года. — 12,5 лет супружеской жизни.)

“Ну, до свиданья, моё золотое сокровище, но признайся, что ты без меня не можешь жить, а? Я так признаюсь, что не могу и что нахожусь, увы! под сильным твоим влиянием. Крепко обнимаю тебя и цалую тебя нежно-нежно, и остаюсь любящая тебя Аня...” (31 мая 1880 года. — Одно из самых последних писем жены к Достоевскому.)

Это — письма. А в художественно-документальных произведениях Анны Григорьевны — “Воспоминаниях” и особенно на страницах расшифрованного дневника периода женевакской эмиграции — можно почувствовать-услышать ещё более горячий пульс любовных чувств, казалось бы, осторожно-сдержанной молодой супруги, проявляемых, увы, зачастую через ревность.

Однажды, к примеру, во время совместной прогулки по Женеве Фёдор Михайлович случайно вынул из кармана клочок бумаги с карандашной записью и, когда Анна Григорьевна захотела посмотреть её, разорвал и выбросил. Вспыхивает ссора. Они расходятся в разные стороны, но Анна Григорьевна, подзревая, что это была записка от Сусловой, быстро возвращается, подбирает клочки, дома складывает, читает непонятную ей фразу и тут же, по свежим следам, доверяет свои переживания интимному стенографическому дневнику:

“Мне представилось, что эта особа приехала сюда в Женеву, что Федя видел её, что она не желает со мной видаться, а видятся они тайно, ничего мне не говоря, а разве я могу быть уверена, что Федя мне не изменяет? Чем я в этом могу увериться? Ведь изменил же он этой женщине, так отчего же ему не изменить и мне? <...> потому-то я дала себе слово всегда наблюдать за ним и никогда не доверяться слишком его словам. Положим, что это должно быть и очень дурно, но что же делать, если у меня такой характер, что я не могу быть спокойной, если я так люблю Федю, что ревную его...”

К слову, о ревности. На склоне лет в свой последний роман писатель включает небольшой, но чрезвычайно ёмкий трактат на тему, которая тревожила его на протяжении всей сознательной жизни:

“Ревность! “Отелло не ревнив, он доверчив”, заметил Пушкин, и уже одно это замечание свидетельствует о необычайной глубине ума нашего великого поэта. У Отелло просто разможжена душа и помутилось всё мировоззрение его, потому что погиб его идеал. Но Отелло не станет прятаться, шпионить, подглядывать: он доверчив. Напротив, его надо было наводить, наталкивать, разжигать с чрезвычайными усилиями, чтоб он только догадался об измене. Не таков истинный ревнивец. Невозможно даже представить себе всего позора и нравственного падения, с которыми способен ужиться ревнивец безо всяких угрызений совести. И ведь не то, чтоб это были всё пошлые и грязные души. Напротив, с сердцем высоким, с любовью чистою, полною самопожертвования, можно в то же время прятаться под столы, подкупать подлейших людей и уживаться с самою скверною грязью шпионства и подслушивания. <...> трудно представить себе, с чем может ужиться и примириться и что может простить иной ревнивец! Ревнивцы-то скорее всех и прощают, и это знают все женщины. Ревнивец чрезвычайно скоро (разумеется, после страшной сцены вначале) может и способен простить, например, уже доказанную почти измену, уже виденные им самим объятия и поцелуи, если бы, например, он в то же время мог как-нибудь увериться, что это было “в последний раз” и что соперник его с этого часа уже исчезнет, уедет на край земли, или что сам он увезёт её куда-нибудь в такое место, куда уж больше не придёт этот страшный соперник. Разумеется, примирение произойдёт лишь на час, потому что если бы даже и в самом деле исчез соперник, то завтра же он изобретёт другого, нового и приревнует к новому. И казалось бы, что в той любви, за которою надо так подсматривать, и чего стоит любовь, которую надобно столь усиленно сторожить? Но вот этого-то никогда и не поймёт настоящий ревнивец, а между тем между ними, право, случаются люди даже с сердцами высокими. Замечательно ещё то, что эти самые люди с высокими сердцами, стоя в какой-нибудь камерке, подслушивая и шпионя, хоть и понимая ясно “высокими сердцами своими” весь срам, в который они сами добровольно залезли, но, однако, в ту минуту, по крайней мере пока стоят в этой камерке, никогда не чувствуют угрызений совести...”

Сколько же здесь личного! И сколько в страстном и всепрощающем ревнивце Мите Карамазове от самого Достоевского, и особенно, без сомнения, от Достоевского периодов любви-отношений с Марией Дмитриевной Исаевой и Аполлиinarieй Сусловой. Как мы помним, будущий автор “Братьев Карамазовых”, переживая эти бурные романы, приходил от приступов ревности в такое отчаяние, что желал порой разом и кардинально разрешить эту муку любым, даже самым фантастическим образом. Обыкновенно патологические ревнивцы — это потенциальные убийцы-преступники, но нередки и случаи, когда несчастный человек, физически уничтожив соперника и, тем более, изменницу жену, следом кончает и с собой. Бывает, что ревность доводит впечатлительного человека до суицида, когда веско и неопровержимо подтверждается факт измены.

Достоевский никогда не позволял себе желать несчастий и бед своим счастливым соперникам и, уж тем более, — любимой женщине. Попросту говоря, он либо самоустранился из треугольника, жертвуя своей любовью (как в реальном романе с Марией Дмитриевной и в литературно-художественном — “Униженные и оскорблённые”), либо продолжал терзать себя, не в силах расстаться с любимой женщиной, и поминутно думал о “прыжке в пропасть” (как в реальных отношениях с Аполлиinarieй и книжно-романных между Игроком и Полиной).

Совершенно не то в случае с Анной Григорьевной. Здесь у Достоевского чуть ли не с первых дней начал проявляться прямо-таки норов отца, жёсткого домостроевца, — сказались гены. Младший брат писателя Андрей вспоминал, какие тяжёлые сцены ревности устраивал *папенька* своей жене.

Первая серьёзная сцена ревности в семье Достоевских вспыхнула через полтора месяца после венчания, когда *молодые* находились в Москве как бы в свадебном путешествии. Они проводили вечер в доме у родственников Фёдора Михайловича, и Анна Григорьевна позволила себе чересчур оживлённо пообщаться с неким остроумным и весёлым юношей. Мало этого, за ужином они сели рядом и продолжили интенсивно знакомиться, несмотря на всё более темневшее лицо Достоевского, сидящего напротив. Дальше происходят поразившие и даже напугавшие юную супругу вещи:

“Тотчас после ужина мы уехали домой. Всю длинную дорогу Фёдор Михайлович упорно молчал, не отвечая на мои вопросы. Вернувшись домой, он принялся ходить по комнате и был, видимо, сильно раздражён. Это меня обеспокоило, и я подошла приласкать его и рассеять его настроение. Фёдор Михайлович резко отстранил мою руку и посмотрел на меня таким недобрый, таким свирепым взглядом, что у меня замерло сердце.

— Ты на меня сердисься, Федя? — робко спросила я. — За что же ты сердисься?

При этом вопросе Фёдор Михайлович разразился ужасным гневом и наговорил мне много обидных вещей. По его словам, я была бездушная кокетка и весь вечер кокетничала с моим соседом, чтобы только мучить мужа. Я стала оправдываться, но этим только подлила масла в огонь. Фёдор Михайлович вышел из себя и, забыв, что мы в гостинице, кричал во весь голос. Зная всю неосновательность его обвинений, я была обижена до глубины души его несправедливостью. Его крик и страшное выражение лица испугали меня. Мне стало казаться, что с Фёдором Михайловичем сейчас будет припадок эпилепсии или же он убьёт меня. Я не выдержала и залилась слезами. . .”

В “Воспоминаниях” Анны Григорьевны о приступах ревности мужа речь идёт не так часто, как о приступах-припадках эпилепсии, но тема эта тоже одна из сквозных. Чего стоит признание мемуаристки, относящееся к самым последним годам жизни мужа, когда он активно участвовал в литературных вечерах и брал на них с собой жену: “К сожалению, эти мои выезды в свет нередко омрачались для меня совершенно неожиданными и ни на чём не основанными приступами ревности Фёдора Михайловича, ставившими меня иногда в нелепое положение. . .” И далее приводится пример действительно совершенно нелепого и даже комичного случая, как муж приревновал Анну Григорьевну к товарищу своей юности, а на тот момент уже седовласому старику Д. В. Григоровичу, который, здороваясь, всего только галантно поцеловал ей ручку. . .

Но здесь стоит привести ещё более характерный и впечатляющий эпизод вспышки ревности Достоевского, которая могла иметь даже трагические последствия. Случилось это в мае 1876 года. Анна Григорьевна в один из недоброй памяти весенних дней вздумала легкомысленно пошутить: переписала слово в слово грязное анонимное письмо из романа С. Смирновой “Сила характера”, который только-только, буквально накануне, прочёл в “Отечественных записках” муж, и отправила его почтой на имя Фёдора Михайловича. На другой день, после весёлого и шумного семейного обеда, когда супруг удалился со стаканом чая к себе в кабинет читать свежие письма и уже должен был, по плану Анны Григорьевны, узнать из анонимного послания, что-де “близкая ему особа так недостойно его обманывает” и что ему стоит посмотреть-узнать, чей это портрет она “на сердце носит”, — шутница пошла к нему, дабы вместе посмеяться.

“Я вошла в комнату, села на своё обычное место около письменного стола и нарочно завела речь о чём-то таком, на что требовался ответ Фёдора Михайловича. Но он угрюмо молчал и тяжёлыми, точно пудовыми, шагами, расхаживал по комнате. Я увидела, что он расстроен, и мне мигом стало его жалко. Чтобы разбить молчание, я спросила:

— Что ты такой хмурый, Федя?

Фёдор Михайлович гневно посмотрел на меня, прошёлся ещё раза два по комнате и остановился почти вплоть против меня.

— Ты носишь медальон? — спросил он каким-то сдавленным голосом.

– Ношу.

– Покажи мне его!

– Зачем? Ведь ты много раз его видел.

– По-ка-жи ме-даль-он! – закричал во весь голос Фёдор Михайлович; я поняла, что моя шутка зашла слишком далеко, и, чтобы успокоить его, стала расстёгивать ворот платья. Но я не успела сама вынуть медальон: Фёдор Михайлович не выдержал обуревавшего его гнева, быстро надвинулся на меня и изо всех сил рванул цепочку. Это была тоненькая, им же самим купленная в Венеции. Она мигом оборвалась, и медальон остался в руках мужа. Он быстро обошёл письменный стол и, нагнувшись, стал раскрывать медальон. Не зная, где нажать пружинку, он долго с ним возился. Я видела, как дрожали его руки и как медальон чуть не выскользнул из них на стол. Мне было его ужасно жаль и страшно досадно на себя. Я заговорила дружески и предложила открыть сама, но Фёдор Михайлович гневным движением головы отклонил мою услугу. Наконец, муж справился с пружинкой, открыл медальон и увидел с одной стороны – портрет нашей Любочки, с другой – свой собственный. Он совершенно оторопел, продолжал рассматривать портрет и молчал.

– Ну, что нашёл? – спросила я. – Федя, глупый ты мой, как мог ты поверить анонимному письму?

Фёдор Михайлович живо повернулся ко мне.

– А ты откуда знаешь об анонимном письме?

– Как откуда? Да я тебе сама его послала!

– Как сама послала, что ты говоришь! Это невероятно!

– А я тебе сейчас докажу!

Я подбежала к другому столу, на котором лежала книжка “Отечественных записок”, порылась в ней и достала несколько почтовых листов, на которых вчера упражнялась в изменении почерка.

Фёдор Михайлович даже руками развёл от изумления.

– И ты сама сочинила это письмо?

– Да и не сочиняла вовсе! Просто списала из романа Софии Ивановны. Ведь ты вчера его читал: я думала, что ты сразу догадаешься.

– Ну, где же тут вспомнить! Анонимные письма все в таком роде пишутся. Не понимаю только, зачем ты мне его послала?

– Просто хотела пошутить, – объясняла я.

– Разве возможны такие шутки? Ведь я измучился в эти полчаса!

– Кто ж тебя знал, что ты у меня такой Отелло и, ничего не рассудив, полезешь на стену.

– В этих случаях не рассуждают! Вот и видно, что ты не испытала истинной любви и истинной ревности.

– Ну, истинную любовь я и теперь испытываю, а вот что я не знаю “истинной ревности”, так уж в этом ты сам виноват: зачем ты мне не изменяешь? – смеялась я, желая рассеять его настроение, – пожалуйста, измени мне. Да и то я добрее тебя: я бы тебя не тронула, но уж зато ей, злодейке, выцарапала бы глаза!

– Вот ты всё смеёшься, Анечка, – заговорил виноватым голосом Фёдор Михайлович, – а, подумай, какое могло бы произойти несчастье! Ведь я в гневе мог задушить тебя! Вот уж именно можно сказать: Бог спас, пожалел наших деток! И подумай, хоть бы я и не нашёл портрета, но во мне всегда оставалась бы капля сомнения в твоей верности, и я бы всю жизнь твою мучился. Умоляю тебя, не шути такими вещами, в ярости я за себя не отвечаю!

Во время разговора я почувствовала какую-то неловкость в движении шеи. Я провела по ней платком, и на нём оказалась полоска крови: очевидно, сорванная с силою цепочка оцарапала кожу. Увидев на платке кровь, муж мой пришёл в отчаяние. . .”

Как видим, опять всплывает имя Отелло, и Достоевский, опять же не шутя, восклицает, что способен задушить из ревности и что в ярости за себя не отвечает. Между прочим, именно в этот период Фёдор Михайлович желал сыграть, мечтал сыграть роль Отелло в одном из домашних спектаклей у Штакеншнейдеров. И здесь ещё раз стоит перечитать рассуждения автора “Братьев Карамазовых” о мнении Пушкина, что Отелло не ревнив, он доверчив, и вспомнить в этой связи непохожесть ревности Достоевского периода ухаживания за Марией Дмитриевной и периода семейной жизни с Анной Григорьевной.

Итак, ревность Достоевского-мужа всегда агрессивно однонаправлена в сторону жены — с соперниками он даже и не пытается выяснять отношения. А уж, казалось бы, чего проще и естественнее — сделать тут же по горячим следам старому приятелю Григоровичу замечание: не смей, дескать, целовать руку моей жене! Нет, весь напор ревности вынуждена принимать на себя только Анна Григорьевна.

Ну, а сама она, со своей стороны, как себя ведёт, как играет роль Отелло в юбке? О женевском эпизоде с письмом Сусловой мы уже знаем. А давайте вчитаемся ещё раз в её попутное и как бы полушутливое замечание в финале сцены с медальоном: "...я бы тебя не тронула, но уж зато ей, злодейке, выцарапала бы глаза!" Здесь и курсив, и двойной восклицательный знак — это всё Анны Григорьевны, даже годы спустя после смерти мужа впадающей в бойцовско-агрессивное состояние при мысли об его измене.

А поводы для ревности своей молодой жене поначалу давал сам Достоевский. Он с первых же дней знакомства просто поразил Анну Григорьевну своей откровенностью самого интимного свойства. Во время диктовки "Игрока" (который, к слову, — сам по себе донельзя исповедально-откровенный в этом плане) он пускается в подробности своего ещё не до конца угасшего романа с Сусловой... Он подробно рассказывает полузнакомой стенографке о своём сватовстве к А. В. Корвин-Круковской... Эти его откровенности занозами засели в память сначала невесты, а потом и жены, побуждая её к подозрительности (раз мог изменять Марии Дмитриевне, значит, способен изменить и ей!). Но ведь и сам Фёдор Михайлович как бы провоцировал подозрение, слежку и перлюстрацию со стороны юной супруги. Он продолжал переписываться с Сусловой, он рисовал и рисовал её образ в своих новых произведениях...

Сцена в Женеве — это как бы отголосок ещё более бурного эпизода, случившегося в первые дни их пребывания в Дрездене. К своему счастью, Анна Григорьевна никогда не прочла письмо своего мужа к Сусловой от 23 апреля /5 мая/ 1867 года (оно было впервые опубликовано в 1923 году), — думается, тон и некоторые выражения этого письма весьма бы её покорибли: "Стало быть, милая, ты ничего не знаешь обо мне <...>. Я женился в феврале нынешнего года <...> Милюков посоветовал мне взять стенографа, чтоб диктовать роман <...>. Стенографка моя Анна Григорьевна Сниткина была молодая и довольно пригожая девушка, 20 лет, хорошего семейства, превосходно кончившая гимназический курс, с чрезвычайно добрым и ясным характером. Работа у нас пошла превосходно. <...> При конце романа я заметил, что стенографка моя меня искренно любит, хотя никогда не говорила мне об этом ни слова, а мне она всё больше и больше нравилась. Так как со смерти брата мне ужасно скучно и тяжело жить, то я и предложил ей за меня выйти. Она согласилась, и вот мы обвенчаны..."

Итак, женился он на ней от скуки... Видимо, отголоски такого как бы оправдательного заявления в ответном письме Сусловой (оно не сохранилось) аукнулись, ибо Анна Григорьевна, вскрыв её послание (муж находился в отъезде) и прочитав, комментирует в дневнике своё мнение, что-де это "очень глупое и грубое письмо", и добавляет: "Я два раза прочла письмо <...> подошла к зеркалу и увидела, что у меня всё лицо в пятнах от волнения..." К слову, за несколько дней до того Анна Григорьевна перлюстрировала ещё одно письмо Сусловой, пока муж в кафе читал газеты, и была по прочтении так потрясена, что довела себя до истерики, боясь возобновления старой привязанности мужа.

Простодушная уверенность Анны Григорьевны в необходимости перлюстрации и слежки ради удержания мужа и сохранения любви умиляет. Позже, когда она убедилась, что с главной соперницей, Аполлинарией Сусловой, действительно у мужа всё кончено, Анна Григорьевна ревность стала проявлять не так бурно, но рецидивы случались. Недаром же Фёдор Михайлович в письме из Эмса (от 16 /28/ июня 1874 года) упоминает, что-де она боится, как бы он не "пустился" за другими женщинами за границей, вдали от жены. И совершенно наивно-трогательно воспринимается в этом плане замечание Л. Ф. Достоевской в книге "Достоевский в изображении своей дочери", где она пишет о том, как в последние годы своей жизни её отец стал часто посещать салон графини Толстой, вдовы поэта А. К. Толстого: "Моя мать, хотя и была немного ревнива, но соглашалась с тем, что её муж часто посещал

графиню, которая в то время уже вышла из возраста соблазнительницы...”

И всё же кратковременные разлады из-за необоснованной ревности, нежные затруднения и прочие тёмные облачка на небосклоне семейной жизни четы Достоевских не заслоняли главного — несомненного счастья этого брака. Анна Григорьевна стала подлинным ангелом-хранителем Достоевского. Господь послал её Фёдору Михайловичу как награду за муки. “Ах, зачем Вы не женаты и зачем у Вас нет ребёнка, многоуважаемый Николай Николаевич! Клянусь Вам, что в этом 3/4 счастья жизненного, а в остальном разве только одна четверть...” — пылко восклицает он в письме к Н. Н. Страхову в 1870-м, ещё ощущая себя молодожёном. “До свидания, моя дорогая, желанная и бесценная, целую твои ножи...” — так заканчивает одно из самых последних писем к жене Достоевский в 1880-м...

Безусловно то, что именно Анна Григорьевна просто-напросто продлила его дни. Без её ухода, ласки, заботы, помощи, без её ЛЮБВИ он сгорел бы, умер намного раньше января 1881-го... Право, стоит процитировать замечательные слова самой Анны Григорьевны:

“Мне всю жизнь представлялось некоторого рода загадкою то обстоятельство, что мой добрый муж не только любил и уважал меня, как многие мужья любят и уважают своих жен, но почти преклонялся предо мною, как будто я была каким-то особенным существом, именно для него созданным, и это не только в первое время брака, но и во все остальные годы до самой его смерти. А ведь в действительности я не отличалась красотой, не обладала ни талантами, ни особенным умственным развитием, а образования была среднего (гимназического). И вот, несмотря на это, заслужила от такого умного и талантливого человека глубокое почитание и почти поклонение...”

Но любовь её к мужу была не только безграничной, но и деятельной. После смерти Достоевского она выпустила 7 собраний его сочинений, активно помогала составителям книги “Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского” (1883), выпустила “Библиографический указатель сочинений и произведений искусства, относящихся к жизни и деятельности Ф. М. Достоевского” (1906), написала “Воспоминания” (1911–1916), работала над расшифровкой своего “Женевского дневника” 1867 года, готовила к изданию отдельной книгой письма Достоевского к ней...

Умерла Анна Григорьевна в Ялте в голодном военном 1918 году, а через 50 лет прах её был перенесён в Александро-Невскую лавру и захоронен рядом с могилой мужа — как она и мечтала.

На первой странице своего великого романа-завещания “Братья Карамазовы” Достоевский кратко написал: “Посвящается Анне Григорьевне Достоевской”. За полтора года до смерти, 6 января 1917 года, А. Г. Достоевская записывает в альбом композитора С. С. Прокофьева (автора оперы “Игрок”) не менее кратко и также глубинно многозначно: “Солнце моей жизни — Фёдор Достоевский”.

В год смерти Достоевского Анне Григорьевне исполнилось 35 лет. Говорят, на настойчивые вопросы, почему она вторично не выйдет замуж, она вполне серьёзно отвечала: мол, а за кого же после Фёдора Михайловича можно выйти, если у Льва Толстого жена уже есть?..

Великая жена великого человека!